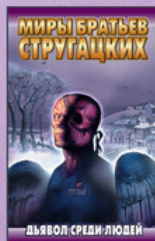


Аркадий Натанович Стругацкий

Дьявол среди людей



Часть сборника
Дьявол среди людей (сборник)



Аркадий Натанович Стругацкий

Дьявол среди людей

Авторский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=127624

С. Ярославцев Экспедиция в преисподнюю. Дьявол среди людей.

Подробности жизни Никиты Воронцова.: Текст; Москва; 1995

ISBN 5-7516-047-9

Аннотация

«Дьявол среди людей». Ироничная и мрачноватая «сказка для взрослых». Последнее из произведений, опубликованных под псевдонимом С.Ярославцев, написанное Аркадием Стругацким «сольно». Простой русский парень становится чем-то вроде дьявола и может убивать и уродовать людей мыслью, на расстоянии. История о Человеке, Которого Нельзя Обижать. Которого Опасно Обижать.

Содержание

1	4
2	6
3	10
4	13
5	18
6	24
7	33
8	36
Конец ознакомительного фрагмента.	43

С. ЯРОСЛАВЦЕВ

ДЬЯВОЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Сон совести рождает чудовищ
Перефраз.

1

*Но какое допустил святотатство патер
грубый!*

*Он послать себе позволил «Таусфес-Ионтеф» к
черту в зубы.*

*«Боже, тут всему конец!» – крикнул рабби в
исступленье...*

Мой стариннейший знакомец (ныне уже покойный), майор милиции С., как-то попросил меня написать все, что я знаю о деле Кима Сергеевича Волошина. Ему хотелось, чтобы я рассказал всю эту историю, как она представлялась мне и некоторым моим сосвидетелям, не скрывая никаких подробностей. Помнится, я принял тогда эту его просьбу за проявление некоего местного патриотизма. Он тяжело и искренне любил наш Ташлинск и всячески стремился прославить его в веках, и помню я, как бурно он радовался, когда открылось, что у нас целую неделю квартировал штаб мя-

тежного Пугачева. Но если говорить откровенно, что представлял собою Ташлинск в дни моей юности? Не то что на карте генеральной, не во всяком атласе отыщешь. Так, большое село. Да и ныне скорее село, нежели город, хотя именуется городом. Районный центрик в бывшей Новоизотовской, ныне снова Ольденбургской области. Маслозавод, механические мастерские, райком партии, пяток кинотеатров.

С другой стороны – майор С. Тот самый, что шестью выстрелами уложил в нашем Овраге восьмерых бродячих кошек и старуху побирушку. У него своя логика, и, боюсь, безупречная. Взять, например, Назарет. Тоже ведь не был ни вторым Карфагеном, ни третьим Римом, а ныне славен на весь мир! Так что если когда-нибудь историю с Кимом Волошиным размотают и распубликуют, то вполне возможно, что в каких-нибудь анналах, медицинских или, на крайний случай, уголовных, появится термин «ташлинский феномен». Это и требуется. И нечего, Алексей Андреевич, саботировать. Я вам в свое время посильно помогал, извольте соответствовать.

Я долго уклонялся, ссылаясь – и не ложно – то на хворости, то на занятость. А потом майор С. вдруг умер. Он был на десяток лет моложе меня; я узнал, что умер он не от тех болезней, которые за ним числились, и я понял, что это – судьба. И сел за машинку.

2

*Говорят, в разгромленной ковравыми бомбежками японской столице часто находили в развалинах «черных кукол», вцепившихся друг в друга заживо сгоревших людей. Да еще в блокадном Ленинграде видели сплотившихся в смертном объятии скелетопоподобных мертвецов. Было, было что-то, толкавшее в смертную минуту людей друг к другу. Да что говорить! В восемнадцатом году топили гардемарин, мальчиков пятнадцати-шестнадцати годков. Связывали руки за спиной, навешивали на шею ржавые колосники и сталкивали за борт. Одного за другим, в общую кучу. Вода была на удивление прозрачная, и любопытствующие отметили, что в последние секунды земного существования своего утопленные копошились в гряде уже мертвых, словно бы стремясь найти себе уютное место, **склупиться** в одну общую массу.*

Я ведь и не помню времени, когда впервые встретился и подружился с Кимом Волошиным. Время было тягостное. Мужчин рвало на куски германское железо, а женщины вкалывали, молились и плакали ночами до изнеможения. Время было под лозунгом «Все на Голгофу!». Вот в это время и появился в нашем Ташлинске будущий возмутитель спокойствия нашего, замурзанный и обтрепанный, с трудом владе-

ющий человеческой речью мальчик Ким. Как появился? Да просто волею смертельно уставшей чиновницы, торопливо заполнявшей бесконечные ведомости. Уже в студенческие времена довелось мне услышать анонимную песню под гитару:

Из краев освобожденных,
С черной, выжженной земли
К нам пригнали эшелоны
И детишек привезли...

Эшелоны не эшелоны, а десяток детишек по какому-то распределению доставили в Ташлинск. Еще в первую военную зиму к нам пригнали целый детский дом из Западной Украины. И Кима угодили туда. Нет, ничего плохого про это заведение не скажу. Из детдомовцев этих вышли совсем неплохие люди. Тот же майор С., например. Или (на свою беду) первый секретарь нашего горкома... Ну, конечно, и сволочи вышли, не стану называть фамилии, они подошли уже и пусть горят вечным огнем. Все они умирали тяжело, и не мне, их врачу, вещать на весь свет то, что мне о них рассказывали, и тем более в чем они в предсмертном бреде мне признавались. О мертвых, как известно, либо ничего... А почему, собственно? Впрочем, речь не о них.

Ну-с, Ким у нас угодил в этот самый детский дом к пациентам из Западной Украины. И там его, конечно, как завзятого кацапа принялись было нещадно бить. Походя оскорб-

лгать, мочиться в его постель, отнимать еду. Дело известное. Мальчишки и звери – одна потеря. Но тут не на таковско-го напали. Ну-с, когда его в очередной раз жестоко отлупили, отобрали у него добротные армейские ботинки и отняли за ужином миску голодной каши вместе с голодной хлебной пайкой, он среди ночи тихонько встал, подкрался к своему главному обидчику, сыто и сладко спавшему под тремя одеялами, и со всего размаху треснул его по голове табуреткой. Ирония судьбы. Этого долдона через месяц должны были призвать в армию. Но после табуреточного сотрясения он почти пять месяцев проволынил в больнице и тем, по существу, спасся. Я его видел потом: кончил войну каким-то политруком, орден, медали и харя – троим не обгадить. Инструктор нашего родного Ольденбургского... виноват, тогда еще Новоизотовского обкома. Оч-чень значительное лицо, ныне, впрочем, на пенсии.

Так вот, о Киме. Табуреточное дело в детдоме, конечно, замяли. Там и не такие дела заминали. Трех заведующих, пятерых завхозов, неучтенное число поварих и нянек отдали под суд, шайки осатаневших от голода воспитанников грабили погреба, лавки и хаты, хозяйки отбивались вилами и топорами, трупы мальчишек и девчонок тайком где-то закапывали, изувеченных увозили неизвестно куда... Это общеизвестное. А что касается Кима, то приставать к нему перестали, но и дружбы ничьей в родном детдоме он не сыскал. Все числились на Голгофе. И Ким подружился со мной.

Во-первых, в классе оказались мы за одной партой. Это само по себе сближает. Но главное – моя мама. Чем-то очень ей понравился Ким. И когда приходил он к нам делать уроки, ему всегда выставлялось угощение: мятая вареная картошка, круто посоленная и с нарезанным лучком, залитая обратом. И мы всласть лопали. Боже мой, как мы лопали, вспомнить страшно! Только хлеба, конечно, было маловато – так, по маленькой горбушке на нос.

И изрядно было нами обговорено в ту пору, как это всегда водится между мальчишками.

3

Палач не плясал на трупах. Это бедной Катлине почудилось в бреду. Он просто утаптывал землю на свежем захоронении.

Точного возраста своего Ким не знал, пять лет ему записали на глазок. Не знал он и своей фамилии, и имени отца не знал, а знал только, что мать звали Дуня, бабушку – Вера, а деда в семье звали Старый. Отчество и фамилию дали ему от какого-то солдата, не то санитара, не то кашевара, при котором он кантовался, пока не был отправлен в тыл. Ну, и спасибо неведомому Сергею Волошину, пускай земля ему будет пухом. И уж если говорить об именах, то раз Ким признался мне, что по-настоящему звали его Клим (в честь Первого Маршала, надо полагать), но, когда его расспрашивали, он еще весь трясся и пропускал буквы, так и получился у него Ким вместо Клим, так и записали...

А родом он был откуда-то с юга, то ли из Батайска, то ли из Ростова. Отец сразу же ушел на войну и сгинул, во всяком случае, у Кима о нем не осталось никаких воспоминаний. Когда немцы подошли к городу, мать подхватила сынка и перебралась к родителям. Надо полагать, куда-то неподалеку. Уже через несколько дней немцы без боя ворвались в это местечко и помчались дальше. На восток, на восток! Нах

Шталинград!

Об оккупации у Кима особых воспоминаний не сохранилось. Кажется даже, что это было самое сладкое время в его маленькой жизни. Дед Старый и баба Вера души в нем не чаяли, картошки со сметаной, яиц и морковки было предостаточно, обширный двор и садик были в его полном распоряжении, вот только мать чахла день ото дня... Потом наступила та страшная зима, когда война взялась за него по-настоящему.

Вероятно, местечко это имело важное стратегическое значение, иначе чего бы две самые могучие армии в мире топтались на нем несколько дней (часов? недель?), гремели, бабахали, лязгали над головами двух стариков, молодой женщины и ребенка, в ужасе зарывшихся в кучу картошки на дне погреба? Метались по земляным стенам охваченные паникой крысы, изобильно сыпалось с потолка, и все тряслось в крошечной тьме... Выдалась тихая минутка, и дед Старый ползком вскарабкался по земляным ступеням и осторожно выглянул наружу, и сейчас же снова скатился вниз и сообщил, что хату разнесло до завалинки, а на месте сортира навалены грудой то ли мешки какие-то, то ли тела. Затем загремело, забахало, залязгало опять, да еще и сильнее. Мать легла на Кима, прикрыв его своим немощным телом, баба Вера громко читала молитвы, дед Старый кряхтел и ворочался во тьме, все старался зарыть любимых людей поглубже в картошку, а маленький Ким лежал, притиснутый телом матери,

задышался и ходил под себя... И тут снаружи вышибли дверь погребца и вбросили гранату.

Немец? Наш? Какая разница! Треснула взломанная дверь, погреб озарился серым светом, затем со стуком упало рядом, покатилося и грянуло. Целую вечность Ким лежал под трупами тех, кто мог им интересоваться. Потом еще одну вечность он выбирался из-под этих трупов. Он выбрался, залитый кровью и испражнениями, сполз на земляной пол и завыл. Он выл и никак не мог остановиться. Он не помнит, как пришли, как вытащили его наружу, смутно припоминается ему, как кто-то плачет над ним, кто-то матерится люто, потом его мыли и оттирали, и кто-то голый, стриженный ступеньками, лил на него нестерпимо горячую воду и надирал жесткой мочалкой. И вот он оказался чистенький, в подшитой, но все равно непомерной солдатской форме, с брезентовым ремнем и погонами, в громадных ботинках, набитых ветошью, в настоящих обмотках, толсто намотанных на его тощие ноги, и он был под опекой славного санитаря-кашевары дяди Сережи и мчался со всей армией на запад, на запад, на Берлин!

До Берлина он не домчался, а оказался вдруг в эшелоне, в телятнике, набитом такими же возгрявыми бедолагами, котелок замечательно вкусной пшенки с говядиной (на двоих в сутки), буханка хлеба, тоже замечательно вкусного (на пятерых в сутки), Новоизотовск, распределитель, Ташлинск. Все.

Союзные моряки стали жаловаться, что, сойдя на берег после арктических тягот, они у нас лишены женской ласки и оттого могут ненароком исчахнуть. Тогда горько обратился к комсомолкам в возрасте от семнадцати до двадцати лет с предложением порадеть нашим славным товарищам по оружию. Те, конечно, порадеть не отказались. Что делать, времена тяжёлые, а тут тебе и консервы, и шоколад, и виски, и чулочки. Однако когда война закончилась, их всех объявили изменниками Родины, погрузили на баржи и потащили в открытый океан. На остров Сальм, как им объявили. Но до острова Сальма их не дотащили, а потопили из-под воды торпедами. Светило красное полуночное солнце, белело небо над далекой кромкой вечных льдов, океан был как зеркало, и до самого горизонта виднелись по воде женские головы – русые, каштановые, черные...

Одним из первых возвратился в Ташлинск мамин брат дядя Костя. И была при нем одна нога, одинокая медаль «За отвагу» на широкой груди, тощий сидор с нехитрыми пожитками да еще великолепный аккордеон, который, по его словам (и я ему верю), он взял из подбитого им же немецкого танка.

Помнится, вечер был. Женщин к нам набилось великое

множество. Вареная картошка и соленые огурцы высились на столе горами, и не было недостатка в самогоне. Нас с Кимом затиснули в угол, но в миски, что мы протискивали между женскими боками, накладывали не глядя, а нам того и надо было. Мы только перемигивались за спинами. Потом Фроська, толстая наглая девка, с самого начала липнувшая к герою, игриво осведомилась, отчего это на его широкой груди вроде пустовато. На нее зашикали, а дядя Костя, потрогав свою медаль и весь скривившись, очень внятно объяснил беспутной Фроське, что и куда дают Ваньке за атаку и за что дают Красную Звезду Тамарке. Все потупились, кто-то хихикнул, кто-то всплакнул. У Фроськи толстые щеки стали лиловые.

– Ладно, – произнес дядя Костя. – Я вам лучше спою. Может, понятнее будет.

Он достал из футляра аккордеон и запел. Странная была песня, и мотив странный – не то марш, не то тоска предсмертная.

Справа танки, ребята, справа танки, друзья!
Приготовьте гранаты, удирать нам нельзя.
Эй, Сережка с Павлушкой, мочи-сил не жалей,
Накатите мне пушку на бруствер скорей!

У Сережки-студента есть фляга вина.
Не теряйте момента, осушайте до дна!
На закуску узнаем, не пройдет еще час,

Есть ли небо над раем иль морочили нас...

Против гадов с крестами – что мои «сорок пять»?

И снаряды мы стали, словно мертвых, считать...

И остался у пушки я один бить отбой.

Спи спокойно, Павлушка, я иду за тобой.

Тишина стала в хате. И вдруг мой Ким забился рядом со мной, выронил миску и, то ли хохоча истерически, то ли икая, принялся бессвязно выкрикивать:

– Колоть их!.. С крестами, без крестов... всех! На мелкие куски! Чтобы ни одного!.. Вдребезги их! В мясо-кровь!..

Он захлебнулся криком и стал закидываться, словно бы стараясь прижать затылок к лопаткам. Женщины подхватили его, принялись дуть в лицо, лить воду через стиснутые зубы. Дядя Костя спросил брезгливо:

– Это еще кто?

Мама торопливо объяснила: Лешкин-де дружок, детдомовец, а больше ничего не объясняла, но дядя Костя и без того понял. Он опрокинул стопку, закусил огурец и пробормотал, плюясь семечками:

– Оттуда, значит... Ну, что с пацана возьмешь, и не такие заваливались... – И добавил совсем по-горьковски: – А песню он мне все-таки испортил, чтоб ему...

И вскоре получился еще один случай. Вернулось еще несколько изуверченных, и приладились они собираться у нас, выпивать и петь свои дикие и страшные песни. Мама

только вздыхала, но ведь не гнать же их... А уж мы с Кимом слушали во все уши. И вот запели они раз особенно дикую и страшную:

Мы инвалиды, калеки, убогие,
Мы все огрызки Великой войны,
Но унывают из нас лишь немногие,
Мы веселиться, петь и пьянствовать должны!

Так, инвалиды, пей и веселись,
На крыльях водки подымаясь ввысь,
Пускай гремит наш хриплый, жуткий смех —
Нам веселиться, право же, не грех!

Кто не слышал с вонючих коек стонов раненых,
Кто не смотрел смерти прямо в глаза,
Тот удивится, увидев нас пьяными,
Но так смеяться не сумеет никогда!

Так, инвалиды, пей и веселись...

И все. И смолкла внезапно песня. Взвизгнул в последний раз аккордеон и тоже смолк. Тяжесть стеснила мою душу, глаза застлало слезами. Увечные молчали, скорбно и растерянно переглядываясь. У Кима же все лицо стало мокрым от пота, выпученные глаза закатились под лоб, и он медленно сползал со скамьи на пол. Минуту спустя инвалиды, так и не сказав больше ни слова, подхватились и вышли. Вот такое

было происшествие.

Может, с этого все и началось? Первая ласточка? Не вем. Знаний не хватает, а врать не хочу. Да и давно это было.

Впрочем, тут вернулся и отец мой, гвардии капитан, живой и относительно невредимый, и инвалиды перестали у нас собираться.

Еще бабка поучала: «Как попил, ведро доской закрыл, ковшик на доску, гляди, ложки кверху доньшком. А книзу доньшком положишь если, гляди, беси в него насерут...»

В классе, кажется, шестом дорожки наши с Кимом разбежались. В Ташлинске открылось ремесленное училище, и Ким сразу поступил туда учиться – то ли на слесаря по ремонту чего-то сельхозтехнического, то ли на токаря по выточке запчастей. Вообще в тот год школа наша на треть опустела: у большей части ребят повыбило отцов, а в училище как-никак питание, форма и даже приработки – крошечные, конечно, но все же живые деньги.

Ну и вот, мы почти перестали встречаться, тем более что училище располагалось на другом краю Ташлинска и вовсе на другом берегу нашей славной речушки Ташлицы. А время бежало, и летели месяцы и годы, и Усатый перекинулся, как у нас говорили, и Кукурузник на трон взгромоздился, и я невинность потерял у одной развеселой вдовушки, а Ким едва не угодил под суд за злостное хулиганство, и сделалось нам по семнадцати-восемнадцати, и вылупились мы из наших альма-матушек. И тут мы окончательно потеряли друг друга из виду. На несколько лет потеряли, и я, напри-

мер, просто забыл о существовании прежнего своего приятеля Кима Волошина.

Мне удалось сачкануть от армии. Каким образом – не хочу выдавать секретов, да и речь не обо мне. Достаточно сказать, что своевременно оказался я в Томском медицинском институте и засел в нем на пять полных лет, и страха ради иудейска даже на каникулы не появлялся дома. А потом появился в качестве врача «скорой помощи». И только тогда совершенно случайно узнал, что Кима в Ташлинске нет, ибо приключилась с ним история без малого сказочная.

Поведал мне ее механик из бывшей машинно-тракторной, а ныне ремонтно-технической станции, которого довелось мне пользоваться от приступа стенокардии. Оказывается, Ким тоже не попал в армию. Но его просто признали негодным, выяснилось, что у него порок сердца – скорее всего, приобретенный. Забегая вперед, скажу, что убедился в этом самостоятельно, когда случилось мне десяток лет спустя его обследовать. Точно, ревматический митральный порок. Выйдя из военкомата, он незамедлительно двинулся в «Сельхозтехнику» и уже через день гремел железом в МТС под чутким руководством моего механика.

Работал он неплохо, находчиво, но не слишком и утомлял себя, как, впрочем, и по сей день принято у сельских механизаторов. Но важно другое: Ким начал пописывать в нашу районную «Ташлинскую правду»! И никто в те времена об этом не подозревал, потому что свои заметочки-статейки он

безлично подписывал как Рабкор, и под настоящим именем знали его только редактор, ответственный секретарь да кас-сир.

Я не поленился провести вечер в городской библиотеке над подшивками. Старушка библиотекарьша сама и не без гордости отыскивала мне опусы Кима. Ничего особенного, всякое там «Цветет земля ташлинская», «Верните рабочим душевую», «Куда смотрит столовая комиссия?». Но для доморощенного газетчика не так уж и слабо. Кстати, со слов библиотекарьши выяснилось, что Ким был у нее завсегдатаем. Не реже раза в неделю приходил он и брал книги. Главным образом классику. От Белинского и Гоголя до Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Собственно, больше и брать было нечего, брошюрки и всякие там бубенновы-ажаевы...

Эта газетно-машинно-ремонтная идиллия, изредка нарушавшаяся скандалчиками в общежитии (жег электричество допоздна), тянулась у Кима почти четыре года. А потом появилась она.

Она – это Нина Востокова, двадцати лет, студентка Московского института журналистики и единственная дочь Николая Васильевича Востокова.

Николай Васильевич Востоков – русский советский литературовед, профессор, весьма известный в известных кругах специалист по журналистской деятельности Ульянова-Ленина, а также один из достаточно гласных руководителей Московского института журналистики.

Нина Востокова прибыла в наш огромный Ташлинск на практику. Вероятно, ей ничего не стоило устроиться в любой газете первопрестольной, но то ли профессор счел, что дочке пора нюхнуть провинции, то ли сама она настояла на этом, но только в один прекрасный день она появилась в про-табаченном кабинетике редактора нашей районки. Встреча на она была с надлежащим вниманием, выразила приличествующую радость по поводу встречи и надежду на помощь со стороны столь опытных коллег, но, что делать, не смогла скрыть по молодости лет простодушного превосходства своего над ними и даже еще менее лестных для них чувств. Коллеги обиделись, но обиды не показали, а просто свели ее с рабкором К.Волошиным. Дескать, мы здесь тоже не лыком шиты, и зреют в толще наших читательских масс активные наши помощники, и мы их активно выискиваем и привлекаем к активному сотрудничеству. А вот из вас, милочка, еще неизвестно, что получится.

Встреча с рабкором К.Волошиным произвела на заносчивую девочку огромное впечатление. У нее-то, как выяснилось, была за душой пока что одна-единственная заметочка в «Московском комсомольце», и та петитом, по пустячному поводу и без подписи, а этот работяга предъявил ей целый альбом с вырезками. Нина Востокова была изумлена. Она была восхищена. С папиной подачи она всегда верила в творческие возможности трудовых масс, но увидела творческую трудовую личность своими глазами впервые. И где!

Во глубине башкир-кайсацких руд! Она, бедняжка, даже позавидовать не сумела. Она расцеловала Кима, расцеловала редактора и, не говоря ни слова, помчалась в горкомсомола. И весь свет узнал.

И конечно же, согласно всем законам этого жанра жизни, они мигом влюбились друг в друга.

Вот как описал ее редактор «Ташлинской правды», старый друг моего покойного отца и мой пациент. Не шибко красивая, смуглая, скуластенькая, крепенькая, всегда в выцветшей саржевой курточке, комсомольский значок, огромный нагрудный карман, из которого торчат блокнот с авторучкой.

– Суетливая, болтливая, – раздумчиво вспоминал он. – Идеалистка. Павка Корчагин, Олег Кошевой и все такое. Энтузиастка. Глуповата. Разумеется, при таком папаше... – Тут он несколько неожиданно прервал себя, закричал и сообщил: – Что-то меня пучит сегодня. Не иначе как от молочной каши. Закормили меня этой молочной кашей...

Своевременно она отбыла к себе в столицу, а еще примерно через месяц Ким получил уведомление о зачислении его на первый курс Московского института журналистики. Состоялась напутственная беседа в райкоме, состоялось тихое застолье у редактора, состоялась довольно безобразная отвальная в мастерских, и Ким Волошин уехал. И очень скоро был в Ташлинске забыт. Года два в райкомовских докладах продержалась фраза: «Об уровне культурной работы в

районе свидетельствует хотя бы тот факт, что один из наших механизаторов, Волошин К.С., проявивший себя в качестве постоянного рабкора нашей газеты, был замечен в Москве и принят без вступительных экзаменов на один из факультетов Московского института журналистики». Но пришел в райком новый Первый, и фраза эта нечувствительно выпала.

Так что, когда я вернулся в родную хату врачом «скорой», имя Волошина было прочно забыто, да я и сам, признаться, вспомнил о нем только из-за случайной обмолвки моего пациента-мастера. Вспомнил и, натурально, заинтересовался, стал даже расспрашивать. А годы шли, интерес мой стал угасать, и я вновь и очень прочно забыл про Кима. Настолько прочно, что, когда снова встретился с ним, не сразу понял, с кем имею дело.

6

*Скоро, скоро мы ляжем
К северу головой,
Скоро, скоро укроемся
Северною травой...*

К тому времени я уже несколько лет как оставил беспокойную, но столь необходимую для настоящего медика практику на «скорой помощи» и стал в нашей больнице терапевтом, причем ведущим, едва не вторым лицом после главврача. Как-то я дежурил, и дежурство, помнится, было спокойным, только вечером получился срочный вызов из РТС «Заря» на маточное кровотечение у женщины тридцати двух лет. Ночь была тихая, лунная, с небольшим морозцем. До «Зари» километров пятнадцать, так что я с легким сердцем отослал туда наш драндулет, ибо всегда считал, что лошадок наших надо поелику возможно беречь. После обхода я, как всегда, угнездился в ординаторской, приказал дежурной сестре чаю, а сам занялся приведением в порядок своей довольно запущенной документации. Не тут-то было. Мой Вася-Кот (врач «скорой») позвонил из «Зари» и сообщил, что положение больной тяжелое и он решил везти ее к нам. Ну, дело привычное, я позвонил хирургу, он же гинеколог, он же уролог и прочая, разбудил его и велел явиться, затем распо-

рядился насчет операционной.

Через час ее привезли. Как оказалось, ее сопровождал муж, и это было кстати, потому что больная была в беспамятстве, а историю болезни надлежало заполнять. Все наличные силы мои были задействованы в смотровой, и историей болезни пришлось заняться мне самому. Я вышел в «предбанник»; на драном диване сидел там, уткнувши лицо в ладони, мужчина в потрепанном костюме, на полу возле него неопрятной грудой громоздились тулупы, невзрачных расцветок платки, еще какое-то тряпье. Поверх валялись скомканные, окрашенные кровью то ли полотенца, то ли разорванные простыни.

– Вы – муж? – спросил я громким деловитым голосом.

Он поднял голову и посмотрел на меня. Лицо у него было узкое, обтянутое, желтоватого цвета, светлые волосы острижены наголо, из-под щетины виднелись зажившие шрамы, и широкая черная повязка пересекала это лицо и череп, закрывая левый глаз. «Билли Бонс», – промелькнула у меня ненужная мысль.

– Да, – сипло отозвался он и воздвигся. Был он высок, немного выше даже, чем я, но неимоверно худой. До болезненности. И еще я механически отметил, что на потрепанном пиджаке его не хватало пуговиц. И что под пиджаком у него сероватый свитер грубой вязки с растянутым воротом.

Я завел его в ординаторскую, усадил на табурет перед собой, достал бланк и отвинтил колпачок авторучки.

– Имя? – спросил я.

– Мое? – спросил он и прокашлялся.

– Нет, пока не ваше. Имя больной.

– Да, конечно, извините. Имя – Волошина Нина Николаевна.

– Год рождения?

– Тридцать девятый.

– В браке?

– Да. Со мной. Больше десяти лет.

– Беременна?

– Нет. Нет-нет. Точно – нет.

Он заерзал на табурете, устраиваясь удобнее, и положил перед собой на стол сцепленные руки. Огромные мосластые конечности, окрашенные въевшейся ржавчиной и машинным маслом. Что-то было с ними не в порядке, с этими конечностями, но приглядываться я не стал. Я положил ручку и спросил:

– Что с нею случилось?

– Точно не знаю, – ответил он звонким голосом, и я понял, что он на грани истерики. – Наверное, подняла что-нибудь тяжелое, не под силу. У нас там в бараках... Да вы вот что, доктор. Отметьте: в шестьдесят пятом у нее был выкидыш на нервной почве, и потом она на учете... Да, и еще у нее резус отрицательный.

– Так. А на каком учете?

– Психиатрическом. Два года в психушке сидела.

Я записал и снова посмотрел на его лапы. Вот оно что... На правой руке не было безымянного пальца. Культияпка, почти под корень.

– Так, – сказал я. – А прежде у нее такие кровотечения были?

Он не успел ответить. Дверь приоткрылась, просунулась дежурная сестра и деловито произнесла:

– Алексей Андреевич, вас срочно.

Я встал.

– Вы здесь посидите, – сказал я. – Подождите минутку.

Я уже знал, в чем дело. За дверью сестра подтвердила шепотом:

– Умерла...

В смотровой уже было пусто, только хирург мылся над раковиной в углу. Когда я вошел, он повернул ко мне виновато-агрессивную физиономию и пробубнил:

– Ничего не получилось. Клиническая.

Я подошел к столу. Она лежала на спине, вытянутая во весь невеликий рост, голая, серовато-голубая, до изумления тощая, так что все ребрышки проступали сквозь кожу, и коленные мослы не давали сомкнуться прямым, как палки, бедрам, и светло-коричневые пятаки плоских сосков казались нарисованными на ребристой поверхности груди. Глаза были закрыты, личико с кулачок было совершенно кукольное, синеватые зубы сухо блестели меж полураскрытыми белыми губами, и роскошные черные волосы, разбросанные по

изголовью, были пронизаны седыми прядями...

– Как ее фамилия, Алексей Андреевич, не знаете? – спросил хирург, присев у столика и раскрывая блокнот.

– Кажется, Волошина, – машинально пробормотал я. – У меня там записано...

Я еще не договорил, когда сумасшедшая, но точная догадка озарила меня, и я внезапно понял, чей это труп лежит передо мной и кто дожидается меня в ординаторской. Никогда я не понимал и не пойму, наверное, как работает подсознание. Мало ли Волошиных на свете? И ничто не было столь далеко от меня той январской ночью, как Ким Волошин, и никто не мог меньше напомнить мне о Киме, чем тощий человек в пиджаке с оторванными пуговицами, с черной повязкой через глаз, с изувеченной рукой...

– Что? – спросил я.

Сестра стояла с простыней в руках и вопросительно смотрела на меня. И хирург смотрел на меня с любопытством.

– Да, – произнес я нетвердо. – Конечно. Вывозите.

Сестра накрыла труп, отступила от стола и перекрестилась.

– Алексей Андреевич, – сказал хирург, – а как насчет анамнеза? Говорят, с нею муж приехал, хоть бы с его слов составить...

– Я сам, сам, – проговорил я поспешно. – Это я сам. А ты пока набросай диагноз и прочее, потом впишешь...

Я стиснул зубы и вернулся в ординаторскую. Когда я во-

шел, он поднял голову и уставился на меня своим единственным глазом. Я глотнул всухую, медленно обошел стол и сел напротив него. Затем проговорил, глядя в сторону:

– Вот, значит, как. Такое, понимаешь, дело, Ким...

Он перебил меня. Голосом чуть ли не деловитым.

– Умерла?

Я кивнул и стал торопливо объяснять, что подробности покажет вскрытие, могло бы помочь переливание крови, она потеряла массу крови, но у нее же резус, ты сам знаешь, а такой крови не то что в Ташлинске – в Ольденбурге, пожалуй, не найти, а то и в самой Москве.

Он слушал, не перебивая, прикрыв глаз тяжелым темным веком, а когда я, запыхавшись, умолк, подождал несколько секунд и сказал:

– Не надо оправдываться, Лешка. Ничто бы ее не спасло. Ни Ольденбург, ни Москва... Не сегодня, так послезавтра бы, все равно. Отмучилась бедняжка.

Я сейчас же полез в тумбочку стола, извлек емкость со спиртом и стакан, налил граммов сто, долил водой из графина и протянул ему.

– Выпей, Ким.

Он усмехнулся деревянно:

– Ну, раз медицина не против...

Он залпом выпил, вытер заслезившийся глаз, а я, суется, развернул прихваченные из дома бутерброды.

– Закуси.

Он отломил корочку, понюхал и стал жевать.

– В сущности, – произнес он почти рассудительно, – она была давно уже обречена. Любовь, доброта, великодушные – они жестоко наказываются, Лешка. Жестоко и неизбежно.

Я разозлился. Должно быть, уже пришел в себя.

– Это все философия, Ким. По три копейки за идейку. Но как она дошла до такого состояния? Ты что – голодом ее морил?

Он медленно покачал головой.

– Это история долгая, Леша. А в последнее время Нина почти ничего не ела. Не могла. Ничего в ней не держалось. Пытался наладить ее к медикам. Ни в какую. Там, в бараке, бабы пытались лечить ее насильно. Ворожей каких-то позвали, знахарок... травки, настойки, заговоры... Очень ее любили. Да ничего не вышло, как видишь. Она же психическая была, что ты хочешь...

Он постучал пустым стаканом по емкости со спиртом. Я налил. Он выпил и отколупнул еще одну корочку, стал жевать через силу. Вид у него сделался задумчивый.

– И давно ты здесь? – спросил я.

– В Ташлинске? Да не так уж чтобы... Прошлым летом мы приехали. Слава богу, в бараке сразу комнатку дали, мыкаться не пришлось.

– А я и не знал, – проговорил я и добавил неискренне. – Так ведь не все же время ты в этой «Заре» околачивался, в город, наверное, не раз набегал... Чего же ко мне не зашел?

– А зачем я тебе? – спросил он равнодушно. – И ты мне... Конечно, если бы тетя Глаша была жива... (Покойную маму мою звали Глафира Федоровна.)

– Не сразу узнал тебя, – промямлил я, чтобы что-нибудь сказать.

– А я так сразу.

Он взял емкость, налил полный стакан и залпом выпил и с клокотанием запил из графина, прямо из горлышка. Вода полилась ему на грудь, и он, еще не оторвав горлышка от губ, стал растирать ее искалеченной рукой.

– Ну и будет, – сказал я решительно и спрятал емкость.

– Будет так будет, – вяло пробормотал он и прикрыл глаз темным веком.

Затем он сделался слегка буен и обильно слезлив, заговорил непонятно и бессвязно и вдруг на полуслове заснул, уронив голову на стол. Я кликнул сестру и Васю-Кота, и мы выволокли его на диван, устроив ему постель из тулупов и шалей. Во время этой тягостной процедуры он только раз отчетливо произнес: «А что мне на нее смотреть? Я уже насмотрелся. И попрощались мы давно уже...» Произнес и впал в глубокое беспамятство.

Утром его уже не было в больнице. Он исчез вместе со своими тулупами, да так ловко, что даже нянька не уследила. И Ким Волошин снова ушел из поля моего зрения. После того дежурства мне пришлось отлучиться из города, и как раз в это время из «Зари» приехали на санях забрать тело

на похороны. Говорили, был вполне приличный гроб, и было человек десять тепло укутанных женщин – вероятно, соседок Волошиных по неведомому мне барaku. Поезд из трех саней потянулся за Ташлицу на Новое кладбище, и говорят, первые сани, те, что с гробом, вел сам одноглазый Ким, шел впереди, тяжело переставляя ноги, ведя под уздцы заиндевевшую лошадь. Похоронили Нину Волошину и, не возвращаясь в Ташлинск, уехали по правому берегу прямо на свою «Зарю».

Работы у меня, как всегда, было выше головы, и лишь иногда я вспоминал рассеянно и недоумевал, как это могло случиться, что питомец прославленного Московского института журналистики очутился в мастерских заштатной РТС в глубокой провинции, а журналистка и дочка профессора Востокова нашла себе могилу в промерзшей башкир-кайсацкой земле... И еще испытывал я нечто вроде обиды на выскочившего вдруг из небытия Кима, который вполне мог бы мне все сам объяснить, а вот не соизволил, ну и бог с ним, насильно мил не будешь. Да и не желал я быть милым насильно.

В общем, из-за деловой текучки и этого ощущения легкой неприязни Ким, скорее всего, снова выпал бы из моей памяти, но тут получилось одно неожиданное обстоятельство.

Однако сначала я введу в рассказ еще одного героя. Имя ему – Моисей Наумович Гольдберг.

*Летят по небу самолеты-бомбовозы,
 Хотят засыпать нас землей, ёксель-моксель.
 А я, молоденький мальчишка, лет семнадцать,
 Лежу почти что без ноги.
 Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка:
 «Давай тебя я первяжу, ёксель-моксель,
 И в санитарную машину „стундербекер“
 С молитвой тихо уложу...»*

Был это в те времена наш несравненный прозектор, «лекарь мертвых», талантливейший старик, неизбывная гроза новоявленных специалистов, сопляков, путающих перитонит с перитонизмом и забывающих в операционных ранах салфетки. Он умер в прошлом году, старый труженик и мученик, с закрытыми глазами и довольной улыбкой: должно быть, рад был уйти от кошмара, от фантастического дела Ки-ма Волошина.

О прошлом его я знаю немного. Был он учеником и пользовался благосклонностью самого Давыдовского Ипполита Васильевича, главного патологоанатома Советского Союза. Того самого, добавляю для непосвященных, который был инициатором и автором знаменитого Указа от 35-го года о непременно вскрытии всех больных, умерших в лечебных учреждениях. Войну Моисей Наумович прошел от звонка

до звонка. Служа под знаменами генерал-лейтенанта Кочина главным патологоанатомом армии, удостоился Красной Звезды и именного оружия за предупреждение возникшей в войсках эпидемии менингита, обнаруженной и блокированной им на основании материалов вскрытия. Надо полагать, отчетливая была работа.

После войны «Звездочку» свою он, конечно, потерял, именной пистолет у него отобрали, а тут подоспели и настоящие неприятности, и Моисей Наумович стремглав покатился вниз. И докатился, на наше счастье, до Ольденбургского облздрави, который и стряхнул его в Ташлинск. И стал он патологоанатомом больницы, а также – по совместительству и по бедности нашей – судмедэкспертом. И всю четверть века, всю оставшуюся жизнь, прожил в комнатухе, отведенной ему судебным ведомством (!) в так называемом районном пансионате. Впрочем, насколько я знаю, был он совершенно одинок, без единого родственника на всем белом свете.

Довольно долгое время были мы с ним в состоянии настоящего нейтралитета. Но, слава богу, никаких претензий к моей работе у него не случилось, и понемногу стал он заходить ко мне домой – сыграть в шахматы, попить чайку, а то и отобедать. Я к нему привязался, а Алиса (жена моя) просто души в нем не чаяла. Но у нас с ним такие отношения сложились, повторяюсь, не сразу, а вот с так называемыми простыми людьми, в частности, со страдальцами, которых пользовала наша больница, он сходилась необычайно легко.

Конечно, доброе слово для больного – великое подспорье, но не одни только добрые слова имелись в бездонном арсенале Моисея Наумовича. Его, «лекаря мертвых» высочайшего класса, вызывали проконсультироваться в сложных случаях и к живым – вызывали, разумеется, те из моих коллег, что были постарше и поумнее. «Я – старый врач, Алексей Андреевич, – говаривал он мне с усмешкою. – А покойник – тот же больной, только в лекарствах больше не нуждается и в сочувствии тоже». Так или иначе, за четверть века своего служения городу он обрел множество добрых знакомых, особенно людей пожилых, и его охотно приглашали на семейные праздники, даже и на крестины всевозможных внуков и правнуков («несмотря что еврей»), а уж на похороны и поминки – непременно. К слову, популярности ему немало прибавляло и то, что он никогда не волянил с выдачей родственникам усопших патологоанатомических справок, без которых, как известно, предание земле у нас категорически не допускается.

Вот пока и все о Моисее Наумовиче Гольдберге, светлая ему память, а в тот день, в первое, кажется, воскресенье после похорон Нины Волошиной, мы с ним сидели у меня дома в кабинете и играли в шахматы. И вдруг задремал телефон.

8

*Вынесет все – и широкую, ясную грудью дорогу
проложит себе. Жаль только жить.*

Звонил старый знакомый, бессменный редактор нашей «Ташлинской правды».

– Алеша, – просипел он в трубку, – ты не очень занят?

Я осторожно ответил, что не очень.

– Тут у меня один товарищ, – сказал старик, – ему очень нужно поговорить с тобой. И срочно. Полчасика не можешь уделить?

Я ответил, что могу, пожалуй, но что я не один, у меня Моисей Наумович. Редактор хорошо знал Моисея Наумовича – он несколько раз выступал в газете на медицинские и гигиенические темы.

– Моисей Наумович? Это прекрасно. Так мы к тебе идем.

Я с сожалением взглянул на шахматную доску и ответил, что жду. Деликатнейший Моисей Наумович сорвался было уйти, но я свирепо его остановил. Еще чего! Чтобы в мой законный выходной в моем собственном доме моих друзей – и так далее.

И они пришли.

К моему удивлению, товарищ оказался симпатичной шатеночкой лет тридцати, румяной с морозца, с милыми ямоч-

ками на щеках, одетой, я бы сказал, по-столичному. Оправившись от секундного шока, я кинулся освобождать гостью от роскошной меховой шубки. Шатеночка действительно оказалась приезжей из столицы, журналисткой по имени Екатерина Федоровна. Тут и Алиса моя вышла в прихожую, и запахло уже не полчасиком, а банальным нашим гостевым чаепитием часа на три. Всех загнали в столовую и рассадили вокруг самовара. Я взглянул на Моисея Наумовича: вид у него был благодушный и даже довольный – во-первых, он любил чаевничать, а во-вторых, партия была отложена в тяжелом для него положении. Я едва удержался, чтобы не хихикнуть.

Но едва смолк звон ложечек, размешивающих сахар, Екатерина Федоровна, как-то вдруг помрачнев, спросила меня, правильно ли ей сообщили в больнице, что я присутствовал при смерти Нины Волошиной и говорил с ее мужем. Игривость, овладевшая мною, тут же пропала, и я осведомился, почему ее это интересует. Старый редактор пустился было в заверения, что все здесь, дескать, в порядке, но Екатерина Федоровна остановила его движением белой ручки и сказала, что все объяснит сама.

Оказалось, была она старинной, еще институтской подружкой покойницы и дружила также с Кимом. Когда случилась катастрофа, она всеми силами поддерживала Нину, она даже взяла ее к себе жить, хотя это было, сами понимаете, довольно рискованно, и они расстались только в середине про-

шлого года, когда Ким вернулся и увез ее сюда, в Ташлинск. В прошлый понедельник она получила от Кима телеграмму, сразу кинулась на самолет, однако вылет задержался из-за погоды, и на похороны она опоздала. Вчера она была в «Заре» у Кима. Как всегда, рассказать толком он ничего не пожелал, но кое-что рассказали соседки, очень милые и добрые женщины, так что по возвращении она сразу же направилась в больницу, и там одна очень милая особа, видимо медицинская сестра, любезно вывела ее на меня...

– Ведь это вы дежурили в ту ночь, Алексей Андреевич? Я не отрицал.

Однако обратиться прямо ко мне она не сочла удобным. Мало ли как я мог отнестись к ней, если бы она свалилась как снег на голову. И она прибегла к помощи собрата-журналиста, у которого Нина в свое время – как давно это было! – проходила практику. Нина всегда отзывалась о нем с восхищением. (Лик нашего старичка идет багровыми пятнами от похвалы, скорбно опущенные углы губ непроизвольно приподнимаются. Моисей же Наумович вне себя от восхищения.) Она изложила редактору свою просьбу, и вот она здесь.

Все это она выразила отточенными и литературно закругленными периодами. Мне пришла в голову мысль, что выступление свое она продумала и подготовила заранее. И еще одно было ясно: она считала, что мне хорошо известны обстоятельства, выбросившие Волошиных из Москвы в захо-

лустный Ташлинск, обстоятельства, видимо, не просто трагические, но и зловещие.

В самом деле.

Что это за катастрофа, постигшая Кима и Нину?

Почему дочка профессора Востокова вынуждена была переселиться к подруге, даже и ближайшей?

Почему переселение это было сопряжено с риском для подруги?

Откуда вернулся Ким в середине прошлого года?

Не такой уж я был дурак и мамкин сын, чтобы не возникли у меня некоторые подозрения. Я кашлянул и сказал:

– Ну-с, так. И чем я могу быть вам полезен, Екатерина Федоровна?

– Собственно, – проговорила она, – мне бы очень хотелось знать, во-первых, как Нина умерла. И второе, не говорила ли она что-нибудь перед смертью. И если говорила, то что именно.

Тут неожиданно вступился Моисей Наумович. Сухим протокольным голосом он сообщил, что Нина истекла кровью, она была до предела истощена, ее привезли в больницу в бессознательном состоянии, и она скончалась, не приходя в сознание. Так что говорить она ничего не могла.

Екатерина Федоровна часто-часто закивала.

– Да-да, я так и поняла со слов той медсестры. Я просто хотела... И вот еще что. Мне сказали, что вы разговаривали с Кимом. Не могли бы вы изложить... Мне он ничего не рас-

сказал, но, может быть, вам...

– Минуточку, Екатерина Федоровна, – сказал я, собравши в единый кулак все свое нахальство и всю свою бесцеремонность. – Я все-таки позволю себе попросить у вас некоторые разъяснения. Я охотно расскажу вам о нашей беседе с Кимом, но сперва мне хотелось бы выяснить некоторые обстоятельства. Вы намекали на них в начале разговора, но... Может быть, мой старый друг знает что-либо об этих делах?

Старый редактор поспешно затряс головой:

– Ничего, Алеша, ровно ничего!

– Вот видите, ему тоже ничего не известно. (Я не был в этом уверен, но не пронзать же мне было его пронизательным взглядом, и я понесся дальше.) Сами посудите, Екатерина Федоровна. Здесь расстались с Кимом десять... нет, все двенадцать лет назад, проводили его в новую жизнь, успешную и завидную, в столицу, в престижную профессию... да еще под крылышко привилегированного лица.

Я отхлебнул остывшего чая и перевел дух. Все смотрели на меня. Мне показалось, что Моисей Наумович поощрительно мне подмигнул.

– Да... И вдруг неделю назад он появляется у меня в больнице в самом непрезентабельном виде, изрядно изувеченный и с полумертвой женой, и оказывается, что он здесь уже более полугода... А сегодня появляетесь вы и намекаете на какие-то катастрофы, и вам позарез (иначе бы вы не появились) нужно узнать, что сказала Волошина перед смертью и

о чем я разговаривал с Кимом. Воля ваша, Екатерина Федоровна, извольте объясниться.

Я замолчал. Она с изумлением посмотрела на меня, затем на редактора и снова на меня.

– Вы что же, – запинаясь, проговорила она, – вы действительно не знаете, что с ними было?

Я молча покачал головой. Она опустила глаза.

– Наверное, мне не следовало обращаться к вам, – сказала она.

Я пожал плечами, а Моисей мой Наумович мягко промурлыкал:

– Обратного хода нет, душенька. Вы слишком нас заинтриговали.

Тогда она подумала и решилась.

В Москве Волошины зажили спокойно и счастливо. Нина влюбилась в Кима как кошка. Поселились они в квартире профессора, в комнате Нины. Ким учился словно вол (в смысле упорства, конечно). Он много читал, в его распоряжении была ведь богатейшая библиотека тестя, и ему не приходилось выстаивать в очередях в Ленинку. И тесть гордился зятьком и, кажется, не раз упоминал его в беседах с институтским начальством. Пришла вожаделенная пора, Нина получила диплом и поступила в «Советское искусство», а еще через два года закончил и Ким и не без некоторой подачи тестя поступил в аспирантуру. Все шло путем.

И вдруг Кима забрали.

Это было словно гром среди ясного неба. Выяснилось, что еще на четвертом курсе он присоединился к «Союзу демократической молодежи против правительственного произвола» (СДМПП, двадцать шесть человек). Выяснилось, что он был активным распространителем «Информационного листка», разоблачавшего противоправные действия КГБ, прокуратуры и партийной элиты. Выяснилось, что он участвовал в жутком заговоре против здоровья и жизни членов Политбюро. И завертелось следствие.

Нина кинулась к отцу, прося вступитьсь. Но специалист по журналистской деятельности Ульянова-Ленина был в бешенстве. Зятя он называл не иначе, как грязным антисоветчиком, вонючим предателем и змеей, пригретой на его, теста, груди. Колотя себя по залысому лбу, он кричал о волке, коего сколь ни корми, а он сожрет вдвое и еще харкнет тебе же в морду. И он потребовал, чтобы Нина немедленно подала на развод и тем самым смыла бы позорное пятно со славной фамилии Востоковых...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.